

# Владимир Маяковский

## Облако в штанах

Тетраптих

(вступление)

Вашу мысль,  
мечтающую на размягченном  
мозгу,  
как выжиревший лакей на  
засаленной кушетке,  
буду дразнить об окровавленный  
сердца лоскут:  
досыта изъиздеваюсь, нахальный  
и едкий.

У меня в душе ни одного седого  
волоса,  
и старческой нежности нет в ней!  
Мир огромив мощью голоса,  
иду — красивый,  
двадцатидвухлетний.

Нежные!  
Вы любовь на скрипки ложите.  
Любовь на литавры ложит  
грубый.  
А себя, как я, вывернуть не  
можете,  
чтобы были одни сплошные  
губы!

Приходите учиться —  
из гостиной батистовая,  
чинная чиновница ангельской  
лиги.

И которая губы спокойно  
перелистывает,  
как кухарка страницы поваренной  
книги.

Хотите —  
буду от мяса бешеный  
— и, как небо, меняя тона —  
хотите —  
буду безукоризненно нежный,  
не мужчина, а — облако в  
штанах!

Не верю, что есть цветочная  
Ницца!  
Мною опять славословятся

мужчины, залежанные, как  
больница,  
и женщины, истрепанные, как  
пословица.

1

Вы думаете, это бредит малярия?

Это было,  
было в Одессе.

«Приду в четыре»,— сказала  
Мария.  
Восемь.  
Девять.  
Десять.

Вот и вечер  
в ночную жуть  
ушел от окон,  
хмурый,  
декабрь.

В дряхлую спину хохочут и ржут  
канделябры.

Меня сейчас узнать не могли бы:  
жилистая громадина  
стонет,  
корчится.  
Что может хотеться этакой  
глыбе?  
А глыбе многое хочется!

Ведь для себя не важно  
и то, что бронзовый,  
и то, что сердце — холодной  
железкою.  
Ночью хочется звон свой  
спрятать в мягкое,  
в женское.

И вот,  
громадный,  
горблюсь в окне,  
плавлю лбом стекло окошечное.  
Будет любовь или нет?  
Какая —  
большая или крошечная?  
Откуда большая у тела такого:  
должно быть, маленький,  
смирный любёночек.  
Она шарахается автомобильных

гудков.  
Любит звоночки коночек.

Еще и еще,  
уткнувшись дождю  
лицом в его лицо рябое,  
жду,  
обрызганный громом городского  
прибоя.

Полночь, с ножом мечась,  
догнала,  
зарезала,—  
вон его!

Упал двенадцатый час,  
как с плахи голова казненного.

В стеклах дождевки серые  
свылись,  
гримасу громадили,  
как будто воют химеры  
Собора Парижской Богоматери.

Проклятая!  
Что же, и этого не хватит?  
Скоро криком издерется рот.  
Слышу:  
тихо,  
как больной с кровати,  
спрыгнул нерв.  
И вот,—  
сначала прошелся  
едва-едва,  
потом забегал,  
взволнованный,  
четкий.  
Теперь и он и новые два  
мечутся отчаянной чечеткой.

Рухнула штукатурка в нижнем  
этаже.

Нервы —  
большие,  
маленькие,  
многие!—  
скачут бешеные,  
и уже  
у нервов подкашиваются ноги!

А ночь по комнате тинится и  
тинится,—  
из тины не вытянутся  
отяжелевшему глазу.

Двери вдруг заляскали,  
будто у гостиницы  
не попадает зуб на зуб.

Вошла ты,  
резкая, как «нате!»,  
муча перчатки замш,  
сказала:  
«Знаете —  
я выхожу замуж».

Что ж, выходите.  
Ничего.  
Покреплюсь.  
Видите — спокоен как!  
Как пульс  
покойника.  
Помните?  
Вы говорили:  
«Джек Лондон,  
деньги,  
любовь,  
страсть»,—  
а я одно видел:  
вы — Джоконда,  
которую надо украсть!  
И украли.

Опять влюбленный выйду в игры,  
огнем озаряя бровей загиб.  
Что же!  
И в доме, который выгорел,  
иногда живут бездомные  
бродяги!

Дразните?  
«Меньше, чем у нищего копеек,  
у вас изумрудов безумий».  
Помните!  
Погибла Помпея,  
когда раздражили Везувий!

Эй!  
Господа!  
Любители  
святотатств,  
преступлений,  
боев,—  
а самое страшное  
видели —  
лицо мое,  
когда  
я  
абсолютно спокоен?

И чувствую —  
«я»  
для меня мало.  
Кто-то из меня вырывается  
упрямо.

Алло!  
Кто говорит?  
Мама?  
Мама!  
Ваш сын прекрасно болен!  
Мама!  
У него пожар сердца.  
Скажите сестрам, Люде и Оле,—  
ему уже некуда деться.  
Каждое слово,  
даже шутка,  
которые изрыгает обгорающим  
ртом он,  
выбрасывается, как голая  
проститутка  
из горящего публичного дома.  
Люди нюхают —  
запахло жареным!  
Нагнали каких-то.  
Блестящие!  
В касках!  
Нельзя сапожища!  
Скажите пожарным:  
на сердце горящее лезут в ласках.  
Я сам.  
Глаза наслезнённые бочками  
выкачу.  
Дайте о ребра опереться.  
Выскочу! Выскочу! Выскочу!  
Выскочу!  
Рухнули.  
Не выскочишь из сердца!

На лице обгорающем  
из трещины губ  
обугленный поцелуишко  
броситься вырос.

Мама!  
Петь не могу.  
У церковки сердца занимается  
клирос!

Обгорелые фигурки слов и чисел  
из черепа,  
как дети из горящего здания.  
Так страх  
схватиться за небо

высил  
горящие руки «Лузитании».

Трясущимся людям  
в квартирное тихо  
стоглазое зарево рвется с  
пристани.  
Крик последний,—  
ты хоть  
о том, что горю, в столетия  
выстони!

2

Славьте меня!  
Я великим не чета.  
Я над всем, что сделано,  
ставлю «nihil».

Никогда  
ничего не хочу читать.  
Книги?  
Что книги!

Я раньше думал —  
книги делаются так:  
пришел поэт,  
легко разжал уста,  
и сразу запел вдохновенный  
простак —  
пожалуйста!  
А оказывается —  
прежде чем начнет петься,  
долго ходят, размозолев от  
брожения,  
и тихо барахтаются в тине сердца  
глупая вобла воображения.  
Пока выкипичивают, рифмами  
пиликают,  
из любвей и соловьев какое-то  
варево,  
улица корчится безъязыкая —  
ей нечем кричать и  
разговаривать.

Городов вавилонские башни,  
возгордясь, возносим снова,  
а бог  
города на пашни  
рушит,  
мешая слово.

Улица муку молча пёрла.  
Крик торчком стоял из глотки.

Топорщились, застрявшие  
поперек горла,  
пухлые taxi и костлявые пролетки  
грудь испешеходили.

Чахотки плоче.  
Город дорогу мраком запер.

И когда —  
все-таки! —  
выхаркнула давку на площадь,  
спихнув наступившую на горло  
паперть,  
думалось:  
в хорах архангелова хорала  
бог, ограбленный, идет карать!

А улица присела и заорала:  
«Идемте жрать!»

Гримируют городу Круппы и  
Круппики  
грозящих бровей морщъ,  
а во рту  
умерших слов разлагаются  
трупики,  
только два живут, жирея —  
«сволочь»  
и еще какое-то,  
кажется, «борщ».

Поэты,  
размокшие в плаче и всхлипе,  
бросились от улицы, ероша  
космы:  
«Как двумя такими выпеть  
и барышню,  
и любовь,  
и цветочек под росами?»  
А за поэтами —  
уличные тыщи:  
студенты,  
проститутки,  
подрядчики.

Господа!  
Остановитесь!  
Вы не нищие,  
вы не смеете просить подачки!

Нам, здоровенным,  
с шаго саженьям,  
надо не слушать, а рвать их —  
их,  
присосавшихся бесплатным

приложением  
к каждой двуспальной кровати!

Их ли смиренно просить:  
«Помоги мне!»  
Молить о гимне,  
об оратории!  
Мы сами творцы в горящем  
гимне —  
шуме фабрики и лаборатории.

Что мне до Фауста,  
феерией ракет  
скользящего с Мефистофелем в  
небесном паркете!  
Я знаю —  
гвоздь у меня в сапоге  
кошмарней, чем фантазия у Гете!

Я,  
златоустейший,  
чье каждое слово  
душу новородит,  
именинит тело,  
говорю вам:  
мельчайшая пылинка живого  
ценнее всего, что я сделаю и  
сделал!

Слушайте!  
Проповедует,  
мечась и стена,  
сегодняшнего дня крикогубый  
Заратустра!  
Мы  
с лицом, как заспанная простыня,  
с губами, обвисшими, как люстра,  
мы,  
каторжане города-лепрозория,  
где золото и грязь изъязвили  
проказу, —  
мы чище венецианского лазорья,  
морями и солнцами омытого  
сразу!

Плевать, что нет  
у Гомеров и Овидиев  
людей, как мы,  
от копоты в оспе.  
Я знаю —  
солнце померкло б, увидев  
наших душ золотые россыпи!

Жилы и мускулы — молитв  
верней.

Нам ли вымаливать милостей  
времени!  
Мы —  
каждый —  
держим в своей пятерне  
миров приводные ремни!

Это взвело на Голгофы аудиторий  
Петрограда, Москвы, Одессы,  
Киева,  
и не было ни одного,  
который  
не кричал бы:  
«Распни,  
распни его!»  
Но мне —  
люди,  
и те, что обидели —  
вы мне всего дороже и ближе.

Видели,  
как собака бьющую руку лижет?!

Я,  
обсмеянный у сегодняшнего  
племени,  
как длинный  
скабрзный анекдот,  
вижу идущего через горы  
времени,  
которого не видит никто.

Где глаз людей обрывается  
куций,  
главой голодных орд,  
в терновом венце революций  
грядет шестнадцатый год.

А я у вас — его предтеча;  
я — где боль, везде;  
на каждой капле слёзовой течи  
распял себя на кресте.  
Уже ничего простить нельзя.  
Я выжег души, где нежность  
растили.  
Это труднее, чем взять  
тысячу тысяч Бастилий!

И когда,  
приход его  
мятежом оглашая,  
выйдете к спасителю —  
вам я  
душу вытащу,  
растопчу,

чтоб большая!—  
и окровавленную дам, как знамя.

3

Ах, зачем это,  
откуда это  
в светлое весело  
грязных кулачищ замах!

Пришла  
и голову отчаянием занавесила  
мысль о сумасшедших домах.

И —  
как в гибель дредноута  
от душащих спазм  
бросаются в разинутый люк —  
сквозь свой  
до крика разодранный глаз  
лез, обезумев, Бурлюк.  
Почти окровавив исслезенные  
веки,  
вылез,  
встал,  
пошел  
и с нежностью, неожиданной в  
жирном человеке  
взял и сказал:  
«Хорошо!»  
Хорошо, когда в желтую кофту  
душа от осмотров укутана!  
Хорошо,  
когда брошенный в зубы  
эшафоту,  
крикнуть:  
«Пейте какао Ван-Гутена!»

И эту секунду,  
бенгальскую,  
громкую,  
я ни на что б не выменял,  
я ни на...

А из сигарного дыма  
ликерною рюмкой  
вытягивалось пропитое лицо  
Северянина.  
Как вы смеете называться поэтом  
и, серенький, чирикать, как  
перепел!  
Сегодня  
надо  
кастетом

кроиться миру в черепе!

Вы,  
обеспокоенные мыслью одной —  
«изящно пляшу ли»,—  
смотрите, как развлекаюсь  
я —  
площадной  
сутенер и карточный шулер.  
От вас,  
которые влюбленностью мокли,  
от которых  
в столетия слеза лилась,  
уйду я,  
солнце моноклем  
вставлю в широко  
растопыренный глаз.

Невероятно себя нарядив,  
пойду по земле,  
чтоб нравился и жегся,  
а впереди  
на цепочке Наполеона поведу,  
как мопса.  
Вся земля поляжет женщиной,  
заерзает мясами, хотя отжаться;  
вещи оживут —  
губы вещицы  
засюсюкают:  
«цаца, цаца, цаца!»

Вдруг  
и тучи  
и облачное прочее  
подняло на небе невероятную  
качку,  
как будто расходятся белые  
рабочие,  
небу объявив озлобленную  
стачку.  
Гром из-за тучи, зверея, вылез,  
громадные ноздри задорно  
высморкая,  
и небе лицо секунду кривилось  
суровой гримасой железного  
Бисмарка.  
И кто-то,  
запутавшись в облачных путах,  
вытянул руки к кафе —  
и будто по-женски,  
и нежный как будто,  
и будто бы пушки лафет.

Вы думаете —  
это солнце нежненько  
треплет по щечке кафе?  
Это опять расстрелять  
мятежников  
грядет генерал Галифе!

Выньте, гулящие, руки из брюк  
—  
берите камень, нож или бомбу,  
а если у которого нету рук —  
пришел чтоб и бился лбом бы!  
Идите, голодненькие,  
потненькие,  
покорненькие,  
закисшие в блохастом  
грязненьке!  
Идите!  
Понедельники и вторники  
окрасим кровью в праздники!  
Пускай земле под ножами  
припомнится,  
кого хотела опошлить!

Земле,  
обжиревшей, как любовница,  
которую вылюбил Ротшильд!  
Чтоб флаги трепались в горячке  
пальбы,  
как у каждого порядочного  
праздника —  
выше вздымайте, фонарные  
столбы,  
окровавленные туши лабазников.

Изругивался,  
вымаливался,  
резал,  
лез за кем-то  
вгрызаться в бока.

На небе, красный, как марсельеза,  
вздрагивал, околевая, закат.

Уже сумашествие.

Ничего не будет.

Ночь придет,  
перекусит  
и съест.  
Видите —  
небо опять иудит  
пригоршню обгрызанных  
предательством звезд?

Пришла.  
Пирует Мамаем,  
задом на город насев.  
Эту ночь глазами не проломаем,  
черную, как Азеф!

Ежусь, зашвырнувшись в  
трактирные углы,  
вином обливаю душу и скатерть  
и вижу:  
в углу — глаза круглы,—  
глазами в сердце въелась  
богоматерь.  
Чего одаривать по шаблону  
намалеванному  
сиянием трактирную ораву!  
Видишь — опять  
голгофнику оплеванному  
предпочитают Варавву?  
Может быть, нарочно я  
в человеческом месиве  
лицом никого не новей.  
Я,  
может быть,  
самый красивый  
из всех твоих сыновей.  
Дай им,  
заплесневшим в радости,  
скорой смерти времени,  
чтоб стали дети, должные  
подрасти,  
мальчики — отцы,  
девочки — забеременели.  
И новым рожденным дай обрасти  
пытливой сединой волхвов,  
и придут они —  
и будут детей крестить  
именами моих стихов.

Я, воспевающий машину и  
Англию,  
может быть, просто,  
в самом обыкновенном  
Евангелии  
тринадцатый апостол.  
И когда мой голос  
похабно ухаёт —  
от часа к часу,  
целые сутки,  
может быть, Иисус Христос  
нюхает  
моей души незабудки.

Мария! Мария! Мария!  
Пусти, Мария!  
Я не могу на улицах!  
Не хочешь?  
Ждешь,  
как щеки провалятся ямкою  
попробованный всеми,  
пресный,  
я приду  
и беззубо прошамкаю,  
что сегодня я  
«удивительно честный».  
Мария,  
видишь —  
я уже начал сутулиться.

В улицах  
люди жир продырявят в  
четырёхэтажных зобах,  
высунут глазки,  
потертые в сорокгодовой таске,—  
перехихикиваться,  
что у меня в зубах  
— опять!—  
черствая булка вчерашней ласки.  
Дождь обрыдал тротуары,  
лужами сжатый жулик,  
мокрый, лижет улиц забитый  
булыжником труп,  
а на седых ресницах —  
да!—  
на ресницах морозных сосуллек  
слезы из глаз —  
да!—  
из опущенных глаз водосточных  
труб.  
Всех пешеходов морда дождя  
обсосала,  
а в экипажах лощился за жирным  
атлетом атлет;  
лопались люди,  
проевшись насквозь,  
и сочилось сквозь трещины сало,  
мутной рекой с экипажей стекала  
вместе с иссосанной булкой  
жевотина старых котлет.

Мария!  
Как в зажиревшее ухо втиснуть  
им тихое слово?  
Птица  
побирается песней,  
поет,

голодна и звонка,  
а я человек, Мария,  
простой,  
выхарканный чахоточной ночью  
в грязную руку Пресни.  
Мария, хочешь такого?  
Пусти, Мария!  
Судорогой пальцев зажму я  
железное горло звонка!

Мария!

Звереют улиц выгоны.  
На шее садиной пальцы давки.

Открой!

Больно!

Видишь — натыканы  
в глаза из дамских шляп булавки!

Пустила.

Детка!  
Не бойся,  
что у меня на шее воловьей  
потноживотые женщины мокрой  
горою сидят,—  
это сквозь жизнь я ташу  
миллионы огромных чистых  
любовей  
и миллион миллионов маленьких  
грязных любят.  
Не бойся,  
что снова,  
в измены ненастье,  
прильну я к тысячам  
хорошеньких лиц,—  
«любящие Маяковского!»—  
да ведь это ж династия  
на сердце сумасшедшего  
восшедших цариц.  
Мария, ближе!  
В раздетом бесстыдстве,  
в боящейся дрожи ли,  
но дай твоих губ неисцветшую  
прелесть:  
я с сердцем ни разу до мая не  
дожили,  
а в прожитой жизни  
лишь сотый апрель есть.  
Мария!

Поэт сонеты поет Тиане,

а я —  
весь из мяса,  
человек весь —  
тело твое просто прошу,  
как просят христиане —  
«хлеб наш насущный  
даждь нам днесь».

Мария — дай!

Мария!  
Имя твое я боюсь забыть,  
как поэт боится забыть  
какое-то  
в муках ночей рожденное слово,  
величием равное богу.  
Тело твое  
я буду беречь и любить,  
как солдат,  
обрубленный войною,  
ненужный,  
ничей,  
бережет свою единственную  
ногу.  
Мария —  
не хочешь?  
Не хочешь!

Ха!

Значит — опять  
темно и понуро  
сердце возьму,  
слезами окапав,  
нести,  
как собака,  
которая в конуру  
несет  
перееханную поездом лапу.  
Кровью сердце дорогу радую,  
липнет цветами у пыли кителя.  
Тысячу раз опляшет Иродиадой  
солнце землю —  
голову Крестителя.  
И когда мое количество лет  
выпляшет до конца —  
миллионом кровинок устелется  
след  
к дому моего отца.

Вылезу  
грязный (от ночевок в канавах),  
стану бок о бок,  
наклонюсь  
и скажу ему на ухо:



— Послушайте, господин бог!  
Как вам не скушно  
в облачный кисель  
ежедневно обмакивать  
раздобрившие глаза?  
Давайте — знаете —  
устроимте карусель  
на дереве изучения добра и зла!  
Вездесущий, ты будешь в каждом  
шкапу,  
и вина такие расставим по столу,  
чтоб захотелось пройтись в ки-ка-  
пу  
хмурому Петру Апостолу.  
А в рае опять поселим Евочек:  
прикажи, —  
сегодня ночью ж  
со всех бульваров красивейших  
девочек  
я натащу тебе.  
Хочешь?  
Не хочешь?  
Мотаешь головою, кудластый?  
Супишь седую бровь?  
Ты думаешь —  
этот,  
за тобою, крыластый,  
знает, что такое любовь?  
Я тоже ангел, я был им —  
сахарным барашком выглядывал  
в глаз,  
но больше не хочу дарить  
кобылам  
из сервской муки изваянных ваз.  
Всемогущий, ты выдумал пару  
рук,  
сделал,  
что у каждого есть голова, —  
отчего ты не выдумал,  
чтоб было без мук  
целовать, целовать, целовать?!  
Я думал — ты всесильный  
божище,  
а ты недоучка, крохотный божик.

Видишь, я нагибаюсь,  
из-за голенища  
достаю сапожный ножик.  
Крыластые прохвосты!  
Жмитесь в раю!  
Ерошьте перышки в испуганной  
тряске!  
Я тебя, пропахшего ладаном,  
раскрою  
отсюда до Аляски!

Пустите!

Меня не остановите.  
Вру я,  
в праве ли,  
но я не могу быть спокойней.  
Смотрите —  
звезды опять обезглавили  
и небо окровавили бойней!  
Эй, вы!  
Небо!  
Снимите шляпу!  
Я иду!

Глухо.

Вселенная спит,  
положив на лапу  
с клещами звезд огромное ухо.